

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава седьмая

“ДА СГИНЕТ ТЬМА!..”

Перебираю письма Георгия Васильевича Свиридова ко мне. Перечитываю мои записи его монологов. Вспоминаю, как великий русский композитор — до конца дней своих не имевший ни своей собственной, ни казённой дачи — жил жизнью отшельника, снимая дачное жильё в подмосковных посёлках для себя и для своей Эльзы. Восхищаюсь, что при этом образе жизни он, отягощённый годами, недугами, творческими заботами — радушно принимал меня возле калитки, приглашал в дом, и мы начинали разговоры о судьбах литературы, о прошлом, настоящем и будущем нашей России, “о Шиллере, о славе, о любви”, если говорить словами Пушкина.

Мало того, он, используя свой авторитет и всяческие связи, пытался добиться того, чтобы на Всесоюзном радио была записана передача, в которой знаменитый артист Юрий Яковлев читал бы мои стихи.

Он сам, не жалея глаз своих, вчитывался в мои книги, столь страстно и трепетно, что иногда убеждал меня внести в них уточнения или исправления, и я соглашался с ним, с его художественным вкусом и мировоззренческой правотой.

А когда я в редкие минуты падал духом и погружался в тоску от травли со стороны профессиональных идеологов “шестидесятничества”, ободрял меня своим убеждённым словом и своей верой. Он, чувствуя моё поверхностное понимание мировой музыкальной стихии — и западной и отечественной русской, не возмущался, а терпеливо, ярко и убедительно разъяснял мне особенности многих музыкальных культур — немецкой, итальянской, французской, добрался даже до негритянских псалмов! — и, блистательно объясняя их сущность, сравнивал эти культуры с русским мелосом, рождённым народной стихией и обогороженным творчеством Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова. Но это были не лекции, а пламенные, выношенные Георгием Васильевичем в течение всей жизни.

А суждения о “детях Арбата” его, сына русского простонародья, из курского села, были справедливы и неотразимы. В такого рода состоянии он был похож на русского витезя, вышедшего на поединок с сатанинским мировым полчищем. А его посещения миров Пушкина, Достоевского, Толстого и Есенина были не менее глубокими и удивительными, нежели размышления о творчестве Мусоргского и Чайковского, с которыми он разговаривал, как со своими современниками.

Продолжение. Начало в №11,12 за 2019 г., в №1,2,3 за 2020 г.

Видя, как я переживаю брань в свой адрес со стороны фанатиков Высоцкого, возмущённых моей статьёй “От великого до смешного”, он не сказал мне ни слова ни о Высоцком, ни о его поклонниках, как бы показывая своим умолчанием, что они не заслуживают серьёзного разговора.

Думаю, что свою книгу о шестидесятниках я не смог бы написать, если бы не прошёл “свиридовскую школу” поисков правды и трезвого самообладания. Да по-другому и быть не могло, поскольку великая книга Свиридова “Музыка как судьба” рождалась на моих глазах во время наших разговоров. Книга вышла после его смерти. Но перед этим уже была вчерне написана в его дневниках, в записях на страницах книг, которые он читал с карандашом в руке, в его письмах, которые были своеобразными черновиками страниц будущей книги. В одном из его писем ко мне были слова “да будет свет”, в другом “да сгинет тьма”... Каждое из этих словосочетаний могло стать именем его будущей книги, но она вышла в жизнь под названием “Музыка как судьба”, и, может быть, поэтому бессознательно, но не случайно я назвал книгу своих воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”. Георгий Васильевич вольно или невольно, но помог и мне написать свой трёхтомник и дать ему имя.

За много лет нашей дружбы я никогда не видел его впавшим в уныние или в отчаяние. Чем глубже и точнее он ощущал давление на судьбы человеческие мирового зла, тем мужественнее и отважнее были его ответы этому злу и распаду. Лишь в одном из самых последних своих писем он признался мне: “Живу я скверно, болею, жизнь как-то быстро вдруг пошла под откос, дел много, помощи нет, живу в чужом углу, на старости лет это неудобно, неуютно. Работа моя стала. Уже четвёртый год я ничего не могу сделать, быт разлезся по швам. Грустно мне очень и не знаю, как поправить дела”.

Он словно бы предчувствовал, что после его смерти “антреприза” сделает всё, чтобы он был забыт. Во время его столетнего юбилея в 2015 году лишь в каких-то жёлтых газетёнках появилось несколько фраз о нём, как о неисправимом представителе музыкально-провинциального романтизма, чуждом новому двадцать первому веку... А началась наша дружба совершенно неожиданно для меня, в какой-то степени даже благодаря моему легкомыслию.

Дело в том, что, как помнится мне, в мае 1982 года я лихорадочно засобирился в дорогу. Мне все чаще стала сниться таежная река, впадающая в Белое море, ее зеленые острова, окаймленные золотыми лентами кувшинок, рокочущие пороги с гладкими, влажными валунами, серебряная рыба, выпрыгивающая из черной воды, белесоватые ночи, когда особенно тревожат душу звонкие голоса лебедей с безымянного озера.

Но за несколько дней до отъезда раздался звонок из “Литературной газеты”:

— Станислав Юрьевич, приглашаем вас выступить со статьёй в дискуссии о массовости и народности культуры.

Проклятая тема давно мучила меня, и, отложив на несколько дней сборы, я сел к столу и написал все, что пожелал — о Пушкине, о нашем телевидении, о Моцарте, о вульгарной экранизации классики, об Аркадии Райкине, о Федоре Достоевском, о братьях Стругацких, о Владимире Высоцком, о Евгении Евтушенко и т. д. Моя статья называлась “От великого до смешного” и была опубликована 9 июня 1982 года с эпиграфом из маленькой трагедии А. С. Пушкина “Моцарт и Сальери” — “Ты заснёшь надолго, Моцарт!”

Когда я вернулся из поездки на Север, в редакции “Литгазеты” меня ждал мешок писем, негодующих и восторженных, проклинающих и одобряющих... Поскольку я не пощадил в своей статье многих кумиров массовой культуры, то “террор среды”, обрушившийся на мою голову, носил тотальный характер. Я понял, что замахнулся на “святая святых” современного упрощенного человека, особенно на его фантастическое поклонение Владимиру Высоцкому. И тем более долгожданным и дорогим было для меня каждое умное и серьёзное письмо, выражавшее понимание и поддержку. Одно из таких писем было подписано: “Ваш Георгий Свиридов”. После него мы познакомились, и наши, смею сказать, дружеские отношения продлились более пятнадцати лет, вплоть до смерти великого русского композитора.

*“3. 09. 1982 г.*

*Дорогой товарищ!*

Не имея чести быть знакомым с Вами лично, хочу пожать Вам руку и поблагодарить за Вашу замечательную статью. Эпиграф статьи выбран Вами изумительно верно!\*

Как я понимаю, речь идет о сохранении крупных духовных ценностей, без которых жизнь теряет смысл. И дело не только в тех или иных именах литературного обихода.

Я давно Вас знаю, люблю и ценю Ваше строгое слово. Читал прекрасную подборку стихов в газете "Советская Россия", журнальные и хрестоматийные публикации. Читал Ваши воспоминания о Н. Рубцове в журнале "Север". К сожалению, сборника Ваших стихотворений у меня нет (правда, я не коллекционер поэзии). Четыре ваши строки сидят у меня в голове прочно, как будто это я сам их сочинил:

*Синий холод осеннего неба  
Столько раз растворялся в крови,  
Не оставил в ней места для гнева,  
Лишь для горечи и для любви.*

Это, знаете ли, мне очень близко! Дай Вам Бог здоровья и сил для Вашего достойного дела.

С большим уважением Г. Свиридов, Москва".

В ответ я послал Георгию Васильевичу сборник стихотворений и вскоре получил от него еще одно письмо.

"10. 12. 1982 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Спасибо за новую книгу, спасибо за ту, присланную прошлый раз, и за великолепно подобранную В. Кожиновым маленькую антологию современной лирики. Она (книга) открыла мне глаза на существование целой плеяды прекрасных подлинных русских поэтов. Там есть новые для меня имена, например, Казанцев, Балашов, Чухонцев, и у каждого из участников сборника есть настоящие стихи. В моем понимании это – подлинная поэзия, берущая свои заветы из первых рук. Живу я одиноко. Друзей у меня немного. В своей профессиональной среде я – пария, чужой человек. От этого мне особенно дорого то, близкое, что я вижу вокруг. Ваш "Путь" со мной в больнице, я его перечитываю: много мысли, но не рассудочной, а от восприятия мира – сердцем. "Реставрировать церкви не надо" – изумительно. Мне только непонятно, отчего Вы заменили "ни единый из них" на "ни единый из нас"? Из нас кто-нибудь да поймет. Надо в это верить!

"Чего нам не хватало на просторе", "А где дурачки городские"... все это прекрасно и трагично. Прекрасно также о "цыганском" пении. Знаете ли Вы, что это "цыганско-русское"? В Европе цыгане поют по-другому, и вообще меньше поют, хотя там поэты тоже воспевали их внутреннюю свободу – Ленау или Мериме. Но это – другое!

И лирика Ваша – хороша... Все это мне близко очень.

Жалею, что не мог быть на Вашем вечере, жена многое мне передавала из того, что видела и слышала, но это только возбудило мое любопытство. Лишь самолично присутствуя в зале, можешь ощутить напряжение, вызываемое поэзией столь жгуче современной, как Ваша. Хотелось бы мне также увидеть Кожинова; посмотреть, что это за человек, хоть внешне. Он меня поражает. Какая глубина и целеустремленность!

После Нового года, даст Бог, буду дома.

Может быть, навестите меня?

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.

Г. Свиридов".

К этому письму следует сделать необходимое пояснение.

В одной из моих книжек Свиридову чрезвычайно понравилось стихотворение "Реставрировать церкви не надо". Поскольку он в своих письмах дважды пишет о нем, подробно разбирая отдельные строки, я должен еще раз (оно

\* "Ты уснёшь надолго, Моцарт!" (А. Пушкин)

приводится в главе об А. Межирове) его процитировать, дабы читатель понял, что волновало в этом стихотворении Свиридова.

*Реставрировать церкви не надо —  
пусть стоят, как свидетели дней,  
как вместилища тьры и смрада,  
в наготе и в разрухе своей.*

*Пусть ветшают...*

*Недаром с веками  
в средиземноморской стороне  
белый мрамор — античные камни —  
что ни век возрастает в цене.*

*Штукатурка. Покраска. Побелка.  
Подмалевка ободранных стен.  
Совершилась житейская сделка  
между взглядами разных систем.*

*Для чего? Чтоб заезжим туристам  
не смущал любознательный взор  
в стольном граде иль во поле чистом  
обезглавленный тёмный собор?*

*Все равно на просторах раздольных  
ни единый из нас не поймет,  
что за песню в пустых колокольнях  
русский ветер угрюмо поет!*

(1975)

В первом варианте стихотворения, который был прочитан Свиридовым, третья от конца строчка у меня читалась так: “ни единый из них не поймет...” Но потом мне стало казаться, что в этом есть какая-то внутренняя нечестность, какая-то попытка скрыть и нашу собственную вину за все происшедшее с Россией в XX веке. С большими колебаниями, но я все-таки исправил строчку, взяв часть исторической вины самоубийственного кощунства и беспамятства наших отцов и дедов — на себя: “Ни единый из нас не поймет...” Но когда Георгий Васильевич получил от меня очередную книгу моих стихотворений, в которой я, перепечатывая некоторые главные стихи своей жизни, оставил и “Реставрировать церкви не надо” с исправленным словом, он чуть-чуть пристрастного и внимательного читателя сразу понял все: зачем и почему я исправил одно слово на другое. И написал об этом короткое, но чрезвычайно важное и для него и для меня примечание.

А потом, в письме от 3 декабря 1983 года, снова вернулся к этому стихотворению и даже предложил добавить одну букву в одном слове. И с железной логикой обосновал необходимость такого изменения. Но об этом чуть дальше.

Я посылал Георгию Васильевичу новые книги, он иногда звонил мне, приглашал на дачу в Академический городок, где снимал на лето жильё у вдовы одного известного академика.

Мне было всегда горько смотреть на то, что крупнейший русский композитор не имеет средств для того, чтобы жить на собственной загородной даче в соответствии со своими привычками и характером. Но он не придавал этому особенного значения. Он встречал меня возле крыльца, дача находилась в самом глухом углу поселка, вокруг нее росли высокие сосны, кусты дикой малины и смородины. Мы бродили с Георгием Васильевичем по заросшим лесной травой дорожкам, глядели на мерцающие нити осенней паутины, скользящей в воздухе, на низкое небо, уже чреватое осенним холодом, и разговаривали о Чайковском, о Шостаковиче, о Бахе...

Свиридов на прогулки надевал теплое ратиновое пальто, подшитые валенки — в последние годы он плохо переносил холода — и, похожий на вельможу

екатерининских времен в изгнании, показывал, словно свои владения, самые глухие уголки не принадлежащей ему усадьбы... Иногда он резко менял течение разговора, и после скупых жалоб на то, что у него в столах лежат духовные сочинения, которые он не может издать, да и исполнять их некому! — он вдруг начинал пристрастно спрашивать меня о сегодняшнем времени, о поэтах моего поколения, о критиках, о друзьях, о хулителях и ненавистниках русского искусства...

— Вы Кожинова обязательно как-нибудь ко мне приведите, очень мне интересен этот человек... А Юрия Селезнева знали? Да? Замечательный был человек, независимый, штучный! А с Костровым дружите? А чьи стихи посоветуете мне почитать? Юрия Кузнецова? Откуда он, сколько ему лет?

Современность, какая бы она ни была, привлекала его чрезвычайно, не меньше, чем великое прошлое.

Я привез к Георгию Васильевичу Вадима Кожинова, потом как-то был у него в гостях с Валентином Распутиным, познакомился в его доме с Евгением Светлановым, с Николаем Мининым, с Владиславом Чернушенко, с Еленой Образцовой.

Он был чрезвычайно разборчив в новых знакомствах и одновременно жаждал общения и встреч с новыми людьми России. Как будто хотел поделиться с нами всеми своими горестными и тайными думами о её судьбе, всем своим жизненным опытом, всем, чем жил он, великий отшельник нашего времени, опекаемый ангелом-хранителем Эльзой Густавовной, изредка звонившей мне и требовательно просившей: “Приезжайте, Юре надо поговорить...”

Я понимал, что в нем накопилась усталость от работы, от одиночества, от независимости, от усилий, с которыми он сохранял чувство собственного достоинства и чести: “Я очень одинок. В музыкальной жизни пахнет псиной, мафией, интригами. Опереточный Хренников, порнографический Петров, правда, есть и Гаврилин — настоящий талант. Русская современная жизнь слышна в его музыке — и драма, и раёк, и улица. Мне завидуют, меня не любят и не понимают”. Иногда мне казалось, что он выбрал меня, чтобы я потом рассказал — после него, как жилось ему в его молчанье и в его почти монашеском обетном, аскетическом подвижничестве последних лет жизни. Я посылал ему новые книги, и не только свои, он, получив их, почти всегда отвечал мне благодарственными письмами, в которых размышлял и о поэзии Николая Рубцова, и об Андрее Вознесенском, и о Федоре Абрамове...

### ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

*“Я ведь недаром люблю литературу, поэзию, слово. Вот с Вами встречаюсь, с Распутиным, Клюева перечитываю — гигантский поэт! С монументальным народным, христианским ощущением жизни!*

*Все дело в том, что музыка сегодня не та, что была в прошлые века. Религиозный дух оставляет ее, отделяется от нее, она как бы эмансипируется. И сегодня она может жить только в союзе со словом. А это ведь — совместная жизнь слова и музыки — издавна присуще русской культуре. Наша народная музыка — это пение, как для русских, так и для белорусов с украинцами. Наши народные песни, целый пласт! Наши былины были немыслимы без мелодического исполнения, “Слово о полку” так же исполнялось, как песенный речитатив, я уж не говорю о наших молитвах, о церковных песнопениях. А народные песни? Целая сокровищница, которую мы забыли, потеряли, разбазарили за последние десятилетия. Я пытался создать в современной музыкальной жизни своеобразную антологию русской песни, но музыкальная среда, верхушечно-чиновничья композиторская братия отвергла эту мысль. Да уж если так относиться к великой русской народной песенной культуре, то что говорить о фольклоре других народов? Северных, сибирских, дальневосточных. А ведь в их ритуальных песнях такое слияние с природой, такое древнее представление о мироздании, такое наивное и мудрое детское восприятие мира!*

*И однако современная музыка, даже плохая, даже примитивная в худшем смысле слова, даже неприятная многим из нас, — все равно отражает время, его страсти, его эгоизм, его атеизм, его движение к концу света. А потому она, эта музыка, достойна внимания и изучения. Так что вам, литераторам, хочешь не хочешь — надо слушать эту музыку, анализировать ее, понимать, разгадывать, чем она близка и понятна душе сегодняшнего одичавшего от*

цивилизации человека. В Америке есть большая музыка. Американские “чувственные псалмы”, в которых выразились чувство и темперамент “черных”, замечательны. Там есть поворот к национальному, к “реакционному”, как пишут всегда “прогрессивные” еврейские музыкальные критики”.

“24. 07. 1983 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам забытые у нас фотографии и стихотворения. Как мне пришло в голову (к сожалению – поздно, ибо русский человек крепок, как известно, задним умом!), стихи предназначались для прочтения, но я не был столь догадлив и не попросил Вас почитать, по своей непривычке к общению с поэтами. Но я надеюсь, мы как-нибудь устроим литературно-музыкальное “суаре” и тогда – все станет на свои места! Мне было очень хорошо беседовать с Вами и Кожинным, которого я видел впервые, и тоже, надеюсь, не в последний раз (дай Бог).

Сообщите мне, будете ли Вы в Москве – август и первую половину сентября. Может, понадобится встретиться по делу небольшому.

Рыба Ваша произвела ошеломляющее впечатление, я съел её – один, никому не дал ни кусочка, подобного лакомства мне не доводилось пробовать, хотя я – человек избалованный.

Привет Галине Васильевне.

Крепко жму Вашу руку.

Г. Свиридов”.

Сюжет с рыбой возник в письме после того, как я, вернувшись из архангельской тайги с рыбалки и охоты, угостил Свиридовых семгой и хариусом, которых и поймал, и засолил собственноручно.

“3 декабря 1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

спасибо за “огоньковскую” книжечку “По белому свету”. Получил с большой радостью. Бандероль была послана по неточному адресу, но в нашем почт. отд. меня знают и доставили в сохранности куда надо. Стихи Ваши, собранные в ударный кулак, производят на меня большое впечатление.

Мне нравятся Ваша страсть и напор, мужество и умение смотреть на трагическое строго, сурово, без дряблости, сентимента или любования тяжелой стороной жизни. Например, стихи про юродивого. Да многое я бы Вам мог написать, поверьте – я человек с большими требованиями! Стихи Ваши действуют на меня неотразимо. Но критика, который заглянул бы в их глубину, еще не нашлось! И это не упрек Кожинному, который Вас любит, просто тут нужен другой особый глаз для смотрения. Мне не кажется (я позволю себе судить, любя Вас!), что крупная форма, например “Поэма”, явится итогом Вашего пути. Большие, заранее заданные формы не производят на меня теперь впечатления, наоборот, предельно миниатюрная, сжатая как прессом форма – очень действенна. См., напр., потрясающую книгу покойного Ф. А. Абрамова – “Трава-мурава”, это грандиозно по силе, эпично – несмотря на то, что рассказы иногда – короче лирического стихотворения. Эпос. Автор не вылезает на первый план со своими “самовыраженческими” чувствами. Воздействует лишь сама правда жизни, но написанная минимумом максимально точных и выразительных слов. И в поэзии я ценю более – сжатое, спрессованное. Большую же форму вижу – как ряд спрессованных (каждую саму по себе) миниатюр, точно со смыслом выстроенных в ряд.

\* \* \*

После всего этого “научообразия”, которое меня почему-то сегодня одолело, скажу Вам, что читаю стихи Ваши (хорошо уже мне знакомые!) со слезами на глазах. Это без всякой гиперболы.

Одно из любимых моих стихотворений “Реставрировать церкви не надо”... Вы переделывали его. Теперь оно обрело стройную прекрасную форму! Но я хочу быть похожим на того сапожника, который правильно “в обуви ошибку

указал”, а потом начал говорить: “Мне кажется, лицо немного криво” и т. д. Пушкин хорошо это изобразил, и я этому изображению следую, а именно: “Штукатурка. Покраска. Побелка”. Эти три слова напоминают как бы вывеску нашей мастерской, где производят подобные работы. И в этом (в их грубом бытовизме) есть недостаток, отвлекающий от возвышенной речи стиха. Это просто перечень работ. Не смейтесь надо мной! Я говорю это потому, что стихи эти мне особенно близки. Подобная же мысль мне давно и часто приходила в голову, когда я смотрел на разрушенные церкви, похожие на живого человека, с которого сняли кожу, такой это у меня вызвало образ.

Так вот: не сердитесь на меня. “Штукатурка. Подкраска. Побелка. Подмалевка” и т. д.

“Подкрасить” разрушенную церковь, как подкрашивается продажная женщина. Но покрасить – бытовое дело. А “подкрасить”, то есть нанести некий фальшивый тон на то, что внутри уже разрушено, убито и т. д. Другой смысл, более, мне кажется, глубокий возникает от этой одной буквы.

Только не сердитесь, пожалуйста! Я желаю Вам хорошего Нового года – здоровья и возможности трудиться над любимым делом, благополучия и мира в доме. Сердечный привет Вашей жене!

Я нахожусь в больнице, тоскую, естественно.

Не показывайте моих замечаний никому, это должно быть между нами, замечать Вам в стихотворном деле дает мне право только моя большая любовь к Вашим стихам.

Крепко жму Вашу руку. Г. Свиридов”.

Но чаще всего в разговоре о музыке Георгий Васильевич вспоминал Мусоргского: “В его музыке слышится грохот разрушающихся царств”. Мусоргского он ценил как композитора, слышавшего тайные, материковые сдвиги человеческой истории, для чего нужно кроме музыкального гения великое личное мужество. Часто вспоминал и музыку Римского-Корсакова. Помнится, как он рассказывал о возобновленной в 1984 году постановке оперы “Сказание о граде Китеже”:

– Написана опера в 1902 году. При Советской власти ни разу не ставилась. Попытка поставить Голованов в 30-е годы, его смяли, затоптали, даже термин ввели – “головановщина”. А Светланов сделал грандиозную постановку! – Свиридов был восхищен и оперой, и постановкой. С особым чувством он, как бы говоря о современной русской жизни, передавал свое впечатление от образа спившегося негодного русского человечешки, который провел захватчиков ордынцев по неведомым им тропам к таинственному граду Китежу...

– Пьяница, готовый продать все самое родное, самое заветное, “вор”, как говаривали в старину, русский средневековый люмпен. А сколько их в нашей жизни, – сокрушался Свиридов и вспоминал поджигателей-архаровцев из повестей Валентина Распутина “Пожар” и “Прощание с Матерой”... – Я без слез не могу слушать, когда в финале оперы звучит вопрос: а что же дальше будет на Руси? – и герой поет: “Вижу церкви без маковок, дворцы без князей...”

... Именно неестественный союз подобного рода “архаровцев” и местечковых “комиссаров в пыльных шлемах”, по убеждению Свиридова, сыграл роковую роль в событиях 1917 года и гражданской войны.

### ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

– Самый великий наш композитор – конечно же, Мусоргский. Совершенно новый для всего мирового музыкального искусства язык, обогащенный мощным религиозным чувством, да еще в ту эпоху, когда оно уже начало выветриваться из мировой жизни, да и из русской тоже. И вдруг – “Хованщина”! Это же не просто опера, это молитва, это разговор с Богом. Так могли мыслить и чувствовать разве что только Достоевский и Толстой.

Великие ученики и последователи Мусоргского – Римский-Корсаков в “Сказании о граде Китеже” и Рахманинов во “Всенощной” и “Литургии” продолжили религиозное, православное понимание мироустройства. Но первым в России его выразил Мусоргский. Его сочинения – это настоящее религиозное

искусство, но на оперной сцене. Его речитативы не сравнить с речитативами Верди. У Верди речитативы не певучие, механические. У Мусоргского же речитатив – это голос священнослужителя, произносящего Божественные, великие по своему значению слова, которые две тысячи лет произносятся в христианских храмах. В этих словах есть и простота, и детскость, и глубина удивительная. Ведь Христос сказал: “Будьте как дети”. И недаром же у Мусоргского есть гениальное сочинение о детях – “Детская”. Душа ребенка – чистая, простая, вопрошающая, живет в этой музыке. А способностью проникнуть в душу человеческую Мусоргский ближе всего к Достоевскому. Он не признавал оперной европейской музыкальной условности в изображении человека. Его оперные люди по сравнению с людьми Вагнера, Верди, Гуно – совершенно живые, стихийные, загадочные, бесконечные, как у Достоевского. А у западных композиторов их герои – это как бы герои Дюма, в лучшем случае Шиллера или Вальтера Скотта. Нет, у него не романтизм, не приукрашивание мира, не упрощение его, а стихийное выражение жизни со всей ее сложностью и бесконечностью.

Словом, русское её ощущение. Потом это назвали музыкальным реализмом. Но простейший быт, при всей своей тяге к реализму, он в музыку не впускал. Потому и не получилась его попытка с речитативом к гоголевской “Женитьбе”. Слишком содержание ее ничтожно, ничтожно настолько, что Гоголь сам поражался этой ничтожности, пошлости жизни, обыденности. Мусоргский же – композитор трагических страстей, на которых стоит и зиждется жизнь. Он единственный настоящий композитор-трагик. Его “Борис Годунов” куда ближе к древнегреческим античным трагедиям с их хорами, нежели к легкому и изящному европейскому оперному искусству. “Борис Годунов”, “Хованщина” – это музыка крушения царств, это музыкальное пророчество! грядущих революций. И одновременно это апология русского православия. Звон колокольный гудит в его операх! Звон великой трагедии, потому что народ, теряющий веру, – гибнет. А сохранивший или возродивший её – доживёт до торжества христианства. Вот что такое Модест Петрович Мусоргский. Потомок Рюриковичей. Умер в богадельне. Его травили либералы – Тургенев, Салтыков-Щедрин. Один лишь журнал “Гражданин” (реакционнейший!) поместил некролог со словами: “Умер великий композитор. . .” Но насколько был силен в идеях – настолько был слаб в оркестровке, она у него на уровне XVIII века. За это его ругали, и правильно. И еще настоящая литургическая музыка у нас, конечно, Рахманинов. Не Чайковский, не Бортнянский. У них чувство религиозно-сентиментальное. Не более того.

\* \* \*

“Дорогой Станислав Юрьевич,  
пишу по делу. Месяца два с половиной назад появилась идея сделать передачу Ваших стихов по радио (вместе с музыкой!). Идея была близка к осуществлению, но обнаружили трудности, и дело – стало! Причин тут несколько: 1. Подборка стихов оказалась не так удачной (делал ее не я!). 2. Само Ваше имя, да еще в целой передаче (на час времени), вызвало у кого-то из лит. сотрудников Радио, очевидно, протест либо боязнь, причем не боязнь даже начальства (хотя радицензура исключительно строга!), а боязнь и литературных людей, с которыми этот литотдел завязан “мертвым узлом”. Но это – Бог с ним, не хочу лезть в подробности.

Что надо сделать? 1. Вам – отобрать примерно 20 стихов (из “огоньковской” книжки, известных, и прибавить к ним что-то по желанию). Пойдет из них 15 (больше не входит). Остальное место должны занять: вступительное слово Свиридова (ибо передача – музыкально-литературная!), такое слово мной уже было произнесено и записано, но я его немного доделаю (слово недлинное), и музыка Чайковского П. И. и Рахманинова С. В. – компания почетная! Музыка (в отрывках) уже мной подобрана, но ее также надо пересмотреть в связи с переменой текстов.

Прошу Вас отнестись со всей серьезностью к этому делу, оно может дать высокий художественный результат. Имелось в виду пригласить чтецом Юрия Яковлева, хорошего артиста, но пару-другую стихов могли бы прочесть и Вы. Желание сделать такую передачу есть и у моих музыкальных друзей по Радио



и у меня. А теперь, когда поставлен препон, это надо постараться сделать особенно. Выберите время и постарайтесь исполнить мою просьбу. Я думаю, у Вас это не вызовет возражения? А мы будем “толкать” этот “вопрос”. Правда (говорю Вам по секрету!), я почувствовал, что помимо общих цензурных строгостей к слову на Радио (что м. б. и естественно!) “завязанность” с “литгруппировками” там тоже есть! Но мы будем стараться преодолеть этот барьер. М б. нам это и удастся.

В нашей музыкальной жизни дело ведь обстоит м. б. и еще хуже: вся музыка находится в сфере влияния “преступного синдиката”, стоящего во главе Союза композиторов и творящего пагубное дело для нашей культуры, в первую очередь русской. Но надо жить, делать то, в чем убежден и без чего жизнь теряет смысл.

Крепко жму Вашу руку. Жду письма.

Г. Свиридов.  
19/1—84 г.”

... Свиридов еще не конца представлял себе, насколько силен в литературном мире свой “преступный синдикат”, творящий то же пагубное дело для русской литературы. Я предчувствовал, что едва ли что-нибудь может получиться из его затеи с передачей на радио. “Хотя, — сомневался я, — знаменитое имя Свиридова — как они смогут с ним не считаться?” А они просто “заматывали” его идею, чинили ей всякие мелкие препоны, понимая, что рано или поздно он махнет от усталости на все рукой и отстанет от них.

#### ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

— Консерватории — это унификация музыкальной жизни, своеобразная борьба цивилизации с музыкальной стихией, живущей в недрах любого народа. В Европе до середины XIX века не было никаких консерваторий.

Первая была создана в Германии сыном крупного еврейского банкира Мендельсоном Бартольди, замечательным композитором. С переходом на консерваторское образование наша церковная музыка стала оттесняться на обочину музыкальной жизни. Началась европеизация русской музыки, которую энергично поддерживали приехавшие в Россию братья Рубинштейны. Их нашли менеджеры Мендельсона, которые искали по всей Европе способных молодых музыкантов, чтобы обучить их в лейпцигской консерватории, а потом распределить, говоря современным языком, по разным странам в разные национальные консерватории. Но великие немецкие композиторы не приняли этих музыкальных новшеств. Ни один из них в консерваториях не учился: ни Шуман, ни Вебер, ни Лист, ни тем более Вагнер, ни Шуберт, ни Брамс. А ведь это не случайно! Лист вообще презирал унифицированное консерваторское образование и когда встречал бездарного молодого музыканта, то иронизировал: “А Вам, молодой человек, надо обязательно поступить в консерваторию!” Антон Рубинштейн стал монополистом вкусов, определял репертуар, замалчивал Мусоргского. Когда Репин рисовал “Могучую кучку”, ему все приходилось согласовывать с Рубинштейном, а тот ему прямо сказал: “Ну, а Мусоргский-то зачем?” Однако музыкальных критиков европейские консерватории вскоре после создания их сети наплодили к концу XIX века очень много! Поэтому у Листа было два ругательных слова: “музыкальный критик” и “консерватория”. Правда, русскую консерваторию спасло появление Петра Ильича Чайковского, который вскоре перерос Рубинштейна и стал представлять русскую музыку не только в Европе, но и в Америке. Да и наша “Могучая кучка” — Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, ну и, конечно же, Мусоргский — созрела как непрофессиональная среда. Стравинский — явление незаурядное. Именно он проложил в русской музыке путь к чистому модерну, гиперболизировал форму, сознательно лишил музыку духовного начала. Но на этом пути он сделал немало открытий. И, однако, я знаю, что крупнейший композитор XX века — Рахманинов. Его “Всенощная” изумительна! За 2 месяца я прочитал более 6000 тысяч страниц партитуры Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корсакова, даже глаза заболели! Учился сопрягать оркестр с голосом. Но есть у Рахманинова и слабости — сентиментальность.

“21 февраля 1984 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

подборку стихотворений получил, навел справки на радио. Будем стараться сделать передачу, хотя это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Время идет – жизнь меняется! Но я не опускаю рук и не теряю надежды. Теперь у меня – трудное время. Живу я скверно, болею, жизнь как-то быстро вдруг пошла под откос: дел много, помощи нет, живу в чужом углу, на старости лет это неудобно, неуютно. Работа моя – стала. Уже пошел четвертый год, как я ничего нового не могу сделать, быт разлезся по швам. Грустно мне очень, и не знаю, как поправить дело. Книги, посланные Вами, получил. “День поэзии” произвел своеобразное впечатление, думается, он в известной степени отражает состояние нынешнего духа стихотворцев. Читал и критическую заметочку т-те Друниной (весьма, надо сказать, противной особы). Заметочка эта – хорошая реклама!

Ваши стихи мне близки, поэтому понравились. Они современные, по литературному движению, но не добавляют ничего нового в Ваш облик, каким он у меня сложился. Любя Вас – позволю себе говорить откровенно, в этом ведь нет ничего обидного?

Книга воспоминаний о Рубцове произвела сильное и очень, надо сказать, гнетущее впечатление. Если нашей поэзии еще суждено существовать как “Русской поэзии”, в ее главном, коренном качестве, то Рубцов должен остаться в ее истории со своими стихами и своей страшной судьбой. Много, конечно, роднит его с Есениным, но тот был еще человеком здоровой, неотравленной крови, погибал более натужно, форсил, красиво хулиганил в стихах, а этот шел на дно уже безропотно. . .

Одинокая, бесприютная душа, потонувшая в северном необъятном мраке. Его стихами говорит послевоенная, разоренная Россия, Россия детдомов, общежитий, казармы или кубрика и кабака, но не старого кабака, общего (как у Некрасова или Есенина), а кабака уже “домашнего” (в каждой квартире, в каждом жилом углу). И, наконец, могила с “шикарным” казенным надгробием от Союза писателей. Ужасом веет от этой книжки! Вы с ним были дружны. Это меня не удивляет. Вы очень дополняете Рубцова в том смысле, что совсем (как я понимаю) непохожи на него и вместе с тем несете нечто общее. Желаю Вам бодрости и вдохновения. Пусть будут рассказы! Но я жду и Ваших стихов. Ваше страстное мужество мне по душе! А я его как-то потерял. . . Крепко жму Вашу руку.

Р. С. В музыке у нас появилось прекрасное произведение: “Перезвоны” Валерия Гаврилина. Грандиозная штука для хора, идет целый вечер.

Vale. Г. Свиридов”.

\* \* \*

“Дорогой Станислав Юрьевич – с Новым годом, и да минуют нас беды и несчастья! Пусть будет свет и хоть немного радости.

Галине Васильевне – счастье, здоровье и сохранение её прелести на долгие годы. Очень хочу Вас видеть! Немножечко могу писать. Какое это счастье! Радиопередача – будет!

Любящий Вас Г. Свиридов”.

Но всё произошло, как и должно было произойти. Никакой радиопередачи, подготовленной им, не состоялось. Мне было жаль его энтузиазма, времени и сил, потраченных на безнадежное дело. Когда стало ясно, что передачи не будет, я во время одной из наших встреч вспомнил о том, что Шостакович написал музыку на стихи Евтушенко “Бабий Яр”, и, несмотря на сопротивление чиновников от идеологии, оратория была-таки исполнена в Большом консерваторском зале. Свиридов нахмурился: “Значит, мировая антреприза, которой было нужно это исполнение, сильнее партийной идеологии, а мы с Вами – слабее. . .”

Впрочем, о Шостаковиче он всегда говорил, как об одном из своих учителей, без горячих чувств и восторгов, но с уважением. В отличие от Евтушенко, при упоминании о котором его лицо принимало брезгливое выражение.

— А Вы не боитесь, — сказал он, обращаясь при мне к Кожинуву, — так открыто и резко писать о Вознесенском? Он же входит в мировую антрепризу. — И видя, что мы не совсем понимаем, о чем он говорит, Свиридов пояснил:

— Это давняя традиция дельцов от искусства — держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания “звезд”, подавления инакомыслия в творческой среде. Система эта создавалась в двадцатые—тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио... Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле — родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек — Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... А после Лили Брик связи ее салона во многом унаследовала Майя Плисецкая, недаром же Вознесенский хвалу ей вознес в стихах...

О, Вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны, и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех! Я, помню, спросил композитора Щедрина, когда узнал, что он женится на Плисецкой: “Родион, зачем тебе это нужно?” Он ответил мне: “Я сейчас известный композитор, а после женитьбы на Плисецкой стану композитором знаменитым...”

— А как Вы относитесь, Георгий Васильевич, к Плисецкой-балерине?

Свиридов пожал плечами: “Как к ней относиться? Техника...”

Через несколько лет, когда в комиссии Совмина по Российским государственным премиям обсуждался вопрос: присуждать ее или нет Станиславу Куняеву за книгу “Огонь, мерцающий в сосуде”, самым яростным противником выступил Родион Щедрин, хотя было странно, что человек из музыкального мира столь решительно взял на себя смелость судить о книге критики и публицистики. Особенно раздражала Щедрина моя оценка творчества Владимира Высоцкого. Из чего я заключил, что фигура популярного барда тоже находилась под опекой мировой антрепризы.

Так же, как и фигура Альфреда Шнитке. “Последнего великого композитора XX века”, “гения”, как говорили о нём во время его похорон с телеэкрана Андрей Вознесенский, Юрий Любимов, Виктор Ерофеев — “люди близкого круга”, как назвал их Кузнецов в стихотворении “Маркитанты”. О Свиридове никто из них и не вспомнил... А Свиридов, в отличие от Шнитке (о котором только и могли сказать, что он написал музыку к 60 (!) кинофильмам, да намекали, что последняя его симфония не зря называется “9-й” — почти бетховенская!), не входил в круг “творян”, охваченных мировой антрепризой, она же мировая закулиса.

“16/X-85 г.

Дорогой Станислав Юрьевич!

Жизнь у меня довольно хлопотливая, дел очень много в связи с концертами будущего сезона, выходом книг и пр. Приходится много репетировать, немножко сочинил и нового, но главная работа моя — увы! — стоит, и это меня прямо-таки тревожит. Мои друзья рассказывали мне о впечатлении от Вашей полемической статьи в журнале “Наш современник”, там же, говорят, была и хорошая статья М. Любомудрова о театре, которую обругали в “Правде” и “Сов. культуре”, но я ничего этого не читал по занятости своей работой и болезни глаз. Теперь глаза немного стали лучше, хотя болезнь осталась, конечно (болезнь моя главная верно называется — старость, куда от нее денешься). Особенно хороших новостей нет, кроме того, что произведение В. Гаврилина “Перезвоны”, кажется, будет удостоено Гос. премии (среди кучи говна, в том числе и литературного). На меня ужасное впечатление произвели случайно попавшиеся на глаза стихи Вознесенского в “Лит. газете”, где он называет Христа — собакой. Есть ли управа на этого супернегодяя? И непонятно, зачем это печатают! Ведь такие стихи только отталкивают людей от власти, которая как бы поощряет хулиганство этого духовного сифилитика. Жаль кончать письмо на этой поганой ноте. Но — да сгинет Тьма!

Дайте о себе знать, хочу Вас видеть и потолковать хочется.

Г. Свиридов”.

Я подарил Свиридову “Избранное” Николая Клюева, составленное мной и моим сыном Сергеем. Свиридов разволновался. Оказывается, поэзию Николая Клюева он ценил не менее, а может быть и более, нежели Сергея Есенина. Он видел в ней нечто свойственное только русской и очень древней поэтической традиции: монументальную мощь, сравнимую в музыке разве что с мощью Мусоргского, и какое-то присутствие общенародного, еще не расщепленного XX веком, еще не “атомизированного” сознания. И религиозное ощущение Клюевым смысла человеческой истории и мировой жизни Свиридову казалось более цельным и значительным, нежели религиозное чувство Сергея Есенина, более раздробленное, личностное и противоречивое.

— А о Горьком не говорите ничего плохого, — твердо сказал он мне, когда я поделился с ним мыслями о том, что Горький не любил и не знал русского крестьянства, а потому не желал спасать в тридцатые годы ни Николая Клюева, ни Павла Васильева, ни Сергея Клычкова...

— Все гораздо сложнее, все не совсем так, — горячо возразил мне Свиридов. — Я помню те времена! До Первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, в музыке, в живописи не то чтобы жить и работать — дышать тяжело было! Все они были оттеснены, запуганы, оклеветаны всяческими авербахами, бескиными, лелевичами, идеологами РАППа, ЛЕФа, конструктивистами... А приехал Горький, и как бы хозяин появился, крупнейший по тем временам русский писатель... Конечно, сразу все ему поправить не удалось, но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной... И все же, во время войны в эвакуации, когда на каком-то плакате я встретил слова “Россия, Родина, русский”, у меня слезы потекли из глаз...

#### ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

— Так называемое буржуазное искусство существует. Это не миф. Что такое вырождение европейской оперы? Это есть приспособление жанра к вкусам буржуазной публики.

Благодаря деньгам и способностям Мейербергера (он был сыном еврейского банкира) во Франции расцвело в XIX веке творчество Оффенбаха, Обера, Галеви с их музыкальной и исторической легковесностью. Никакого проникновения в глубины национального характера европейских народов в этом буржуазном музыкальном мире не было, именно тогда началась полная дегероизация музыкальной жизни, буржуазное искусство Парижа и Вены бросило тогда вызов еще могучему немецкому музыкальному романтизму. Эта традиция в разных вариантах и сейчас правит бал в так называемом оперном европейском жанре. Недавно в России был музыкальный фестиваль. Один западный композитор-миллионер привез на фестиваль оперетку про Иисуса Христа. Как Вы думаете, где она сейчас ставится? В старом оперном венском театре, где играли Шуберта, Моцарта, а сейчас в его стенах идет оперетка-спектакль, которая называется “Кошки”. Европа сегодня повторяет азы венской школы, в которой изначала выхолащивалась национальная природа музыки. А мы, к сожалению, после полутора веков успешного все-таки противостояния европеизации русского мелоса (вспомним “Могучую кучку”, Рахманинова, даже Прокофьева) впадаем в еще более пошлую американизацию русского мелоса.

“30.12.1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич, спасибо за память, за привет! Он — дорог мне, как и Вы сами. С Новым годом! И желаю Вам бодрости душевной, глубокого размышления и покоя, для осознания того из жизни, что в наших силах осознать. И вперед, не торопясь — за работу. В ее плодах сконцентрирована вся энергия творческого бытия, иначе она растекается бесцельно почти, ибо не обретает формы. Привет жене Вашей и всей Вашей семье здоровья и благополучия.

Эльза Вам кланяется.

Г. Свиридов”.

Приближалось девяностопятилетие со дня рождения Сергея Есенина. Мне было поручено Союзом писателей вместе с Прокушевым и Валентином Соро-

киным руководить работой юбилейной комиссии. Свиридов, которому в ту осень исполнилось семьдесят лет, тут же откликнулся письмом.

“Дорогой Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с юбилеем Октября. Прочел свое имя в списке Есенинской комиссии и обрадовался тому, что Вы ее возглавляете. Имейте в виду, что теперь нужно и можно кое-что сделать, например, организация в Москве Музея и установка памятника поэту в центре города, там, где он жил, в воспетых им переулках. Но для этой цели нужно, чтобы комиссия действовала, то есть действовало бы прежде всего ее ядро. И надо поощрять исследовательскую деятельность есениноведения, которое очень популярно, но не так идет в глубину. Но это все при встрече. Обстановка жизни какая-то напряженная, тревожная, а в музыке – мрачная, кладбищенская. Злобные силы пока “перестроили” ряды и укрепили свою деспотию. Но это уже в порядке вещей.

Дайте о себе знать. Жму руку.

Г. Свиридов”.

### ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

– Есть в мире сообщества людей, объединённых идеей владычества над миром. Они берут под свое крыло творцов, обладающих большим или малым талантом, действуют на их честолюбие, подчиняют своим целям, указывая им, что исполнять, что петь, что писать, изображая свою волю, как мировую, существует настоящий свод правил о том, как делать знаменитым художника, композитора, поэта. Иногда делают “знаменитость” буквально из ничего.

Наше время вообще характерно небывалой, неслыханной ранее концентрацией власти в руках совершенно заурядных людей. В их руках находятся целые страны, их власть чудовищна. В руках этих клерков, бюрократов, ничтожных марионеток, избранных ареопагом мировой финансовой власти, и бомбы, и смертоносные бактерии, и газеты, и медицина, и, наконец, вода, воздух, хлеб... Недиктаторской власти теперь вообще нет. Она лишь чуть-чуть замаскирована театральным механизмом выборов, “свободой” абсолютно несвободной печати. Все эти марионетки – ставленники концерна богачей – отравлены ядом властолюбия. За “место в истории” – мать родную продадут, народ предадут, от Бога откажутся.

\* \* \*

В последние годы жизни Свиридова мы встречались реже. Он подолгу болел, а я был занят журнальными заботами и политической борьбой, да и жизнь сама настолько быстро и катастрофически разрушалась на глазах, что следовать прежним привычкам, устоям не было ни сил, ни времени.

Редким и ярким праздником в эту мерзкую эпоху было лишь его восьмидесятилетие, когда мы с Валентином Распутиным приехали к Свиридовым на дачу, поздравили его, посидели, поговорили и распрощались до встречи в консерватории, где в декабре 1995-го Москва справляла его юбилей... К сожалению, из всех моих писем к нему у меня сохранилась лишь копия одного, написанного, видимо, незадолго до его смерти.

“Дорогой Георгий Васильевич!

Где Вы? Что делаете? Как живете? Простите, ради Бога, меня за молчание – я на последнем издыхании от физических и душевных перегрузок, но о Вас вспоминаю часто, чуть ли не каждый день. Наши беседы у Вас на даче, на Грузинской... Можно ли было предположить, что времена станут еще хуже, еще подлей, еще безнадежней. Все силы уходят на борьбу за существование журнала, на оборону от клеветы и глумления. Да думаю, что Вы сами многое знаете. Очень бы хотелось осуществить мою давнюю мечту – сделать для журнала беседу с Вами на самые вольные темы – о музыке, о литературе, о России, словом, обо всем, что Ваша душа пожелает. Возможно ли это? А собеседника – выберите себе сами, любого близкого Вам писателя, искусствоведа, критика. Думаю, что Вы не представляете, сколь важно будет именно сегодня Ваше слово. Вы же очень давно нигде ничего не печатали –

никаких статей, никаких интервью не давали, насколько я помню. Но, конечно, все зависит от Вашего здоровья. Дай Бог Вам силы и бодрости в наше время, обессиливающее всех. Я по себе это чувствую. Как Эльза Густавовна? Передайте ей мой сердечный привет.

Ваш Ст. Куняев”.

Поздравление писателей и вообще деятелей культуры с юбилеями – хлопотное и рискованное дело для журнала. Всех не упомнишь, да и незачем, а обид и претензий много. Почему о том-то вспомнили, а обо мне нет? Почему одного поздравили с пятидесятилетием, а про шестидесятилетие другого забыли... Но тем не менее, поскольку, хочешь не хочешь, история подводит в конце века итоги советской эпохи, в которой мы все жили, в последние годы “Наш современник” чаще, чем в прежние времена, отмечал писательские юбилеи, печатал хвалебные слова товарищей в адрес того или иного юбиляра, помещал их портреты, иногда сегодняшние, печальные, а иногда те, на которых они изображены в расцвете лет, молодые, известные, почитаемые. Надо хоть как-то приободрить людей в трудное время! И, однако, ни один из них не прислал в журнал ничего хотя бы похожего на те слова, которые в начале 1996 года мы получили от великого русского человека и подлинного народного интеллигента Георгия Васильевича Свиридова.

*“Дорогой Станислав Юрьевич!*

*В номере 12 “Нашего современника” за прошлый год помещена заметка В. Г. Распутина по поводу моего 80-летия. Сердечно благодарю Вас и в Вашем лице редколлегию журнала, оказавшую мне столь высокую честь.*

*С глубоким уважением Г. Свиридов.  
3 февраля 1996 г.  
Москва”.*

\* \* \*

Мы хоронили его в лютый мороз перед Крещеньем. Легкий ветер струил поземку по дорожкам Новодевичьего кладбища – великого имперского пантеона, между черными гранитными стелами и застывшими на свежих могилах, словно изваянными из белого молочного стекла, гладиолусами. Рядом с Эльзой Густавовной стояла сестра Свиридова, как две капли воды похожая на брата, племянник Александр Сергеевич, дирижер Владимир Федосеев, русские литераторы – Валентин Распутин, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов... Порывы леденящего январского ветра задували огоньки свечей, прикрытых замерзшими ладонями...